





Ю Р И Й Б О Н Д А Р Е В

БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ



ЯУЗА 

Москва
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б81

Бондарев, Юрий Васильевич.

Б81 Батальоны просят огня / Юрий Бондарев. — Москва : Яуза : Эксмо, 2022. — 320 с. — (Классика военного романа).

ISBN 978-5-04-168322-1

1943 г. Освобождение Украины. Два батальона 85-го стрелкового полка под командованием майоров Бульбанюка и Максимова получают приказ форсировать Днепр и образовать плацдарм на вражеском берегу и удерживать его до подхода основных войск. В ходе операции оперативно-тактическая обстановка быстро меняется, и место переправы становится второстепенным направлением, а батальоны, лишённые артиллерийской поддержки, тают под вражеским огнём.

В чем же успех повести Юрия Бондарева? Что отличает ее от других книг о Великой Отечественной? «Батальоны просят огня» — одна из ранних работ писателя, в которой он смог показать один из трагических моментов минувшей войны. Офицеры и солдаты продолжают храбро сражаться даже без поддержки артиллерии, и в конце в живых остается лишь пять бойцов. Один из выживших, капитан Борис Ермаков, скорбя о погибших сослуживцах, скажет командиру дивизии: «Я не могу считать вас человеком и офицером». Но мог ли командир дивизии поступить по-другому...

Повесть «Батальоны просят огня» имела громкий успех в Советском Союзе. В 1969 г. эпизоды повести были использованы для создания сценария второго фильма киноэпопеи «Освобождение», а в 1985 г. повесть была экранизирована под одноименным названием. В 2013 году повесть была включена в список «100 книг», рекомендованных школьникам Министерством образования и науки Российской Федерации для самостоятельного чтения.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Бондарев Ю.В., наследники, 2022
© ООО «Издательство «Яуза», 2022
ISBN 978-5-04-168322-1 © ООО «Издательство «Эксмо», 2022

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Бомбежка длилась минут сорок. Потом она кончилась. Полковник Гуляев, оглушенный, втиснутый разрывами в пристанционную канаву, провел ладонью по своей багровой шее — ее покалывало, жгло, — выругался и поднял голову.

В черном от дыма небе, неуклюже выстраиваясь, с тугим гулом уходили немецкие самолеты. Они шли низко над лесами на запад, в сторону мутно-красного шара солнца, которое, казалось, пульсировало в клубящейся мгле. Все горело, рвалось, трещало на путях, и там, где еще недавно стояла за пакгаузом старая закопченная водокачка, теперь среди рельсов, дымясь, чернела гора обугленных кирпичей; клочья горячего пепла опадали в нагретом воздухе.

Полковник Гуляев, морщась, осторожно потер обожженную шею, потом грузно вылез на край канавы и сипло крикнул:

— Жорка! А ну, где ты там? Быстро ко мне!

Жорка Витьковский, шофер и адъютант Гуляева, гибкой независимой походкой вышел из пристанционного садика, грызя яблоко. Его маль-

чишески наглое лицо было спокойно, немецкий автомат небрежно перекинут через плечо, из широких голенищ в разные стороны торчали запасные пенальные магазины.

Он опустился возле Гуляева на корточки, с аппетитным треском разгрызая яблоко, весело улыбаясь пухлыми губами, влажными от сока.

— Вот бродяги! — сказал он, все улыбаясь, взглянув в мутное небо, и добавил невинно: — Съешьте антоновку, товарищ полковник, не обидели ведь...

Это легкомысленное спокойствие мальчишки, вид пылающих вагонов, боль в обожженной шее и это яблоко в руке Жорки внезапно вызвали в Гуляеве злое раздражение.

— Воспользовался уже? Трофеев набрал? — Полковник ударил по протянутой руке адъютанта — яблоко вывалилось; и встал, хмуро отряхивая пепел с погон. — А ну, разыщи коменданта станции! Где он, черт бы его!..

Жорка вздохнул и, придерживая автомат, не спеша двинулся вдоль станционного забора.

— Бегом! — крикнул полковник.

Все, что горело сейчас на этой приднепровской станции, лопалось, взрывалось, трещало и малиновыми молниями вылетало из вагонов, и то, что было покрыто на платформах тлеющими чехлами, — все это уже значилось словно бы собственностью Гуляева, все это прибыло в армию и должно было поступить в дивизию, в его полк и поддерживать

в готовящемся прорыве. Все погибало, пропадало в огне, обугливалось, стреляло без цели после более получасовой бомбежки.

«Бестолочи, глупцы! — гневно думал Гуляев о коменданте станции и начальнике тыла дивизии, решительно и грузно шагая по битому стеклу к вокзалу. — Под суд, сукиных сынов, мало! Под суд! Обоих!»

Возле станции уже стали появляться люди: навстречу бежали солдаты с потными серыми лицами, танкисты в запорошенных пылью шлемах, в грязных комбинезонах. Все подавленно озирали дымный горизонт, щуплый и низенький танкист-лейтенант, ненужно хватаясь за кобуру, метался меж ними по платформе, орал срывающимся голосом:

— Тащи бревна! К танкам! К танкам!..

И, наткнувшись растерянным взглядом на Гуляева, не вытянулся, не козырнул, только покрылся тонким ртом.

Впереди, метрах в пятидесяти от перрона, под прикрытием каменных стен чудом уцелевшего вокзала стояла группа офицеров, доносились приглушенные голоса. В середине этой толпы на голову выделялся своим высоким ростом командир дивизии Иверзев, молодой румяный полковник, в распахнутом стального цвета плаще, с новыми полевыми погонями. Одна щека его была краснее другой, синие глаза источали холодное презрение и злость.

— Вы погубили все! Па-адлец! Вы понимаете, что вы наделали? В-вы!.. Пон-нимаете?..

Он коротко, неловко поднял руку, и у стоявшего возле человека, как от ожидания удара, невольно вскинулась кверху голова, — и тогда полковник Гуляев увидел белое, дрожавшее дряблыми складками лицо пожилого майора, начальника тыла дивизии, его опухшие от бессонной ночи веки, седые взлохмаченные волосы. Бросились в глаза неопрятный мешковатый китель, висевший на округлых плечах, нечистый подворотничок, грязь, прилипшая к помятому майорскому погону, запасник, по-видимому, работавший до войны хозяйственником, «папаша и дачник»... Втянув голову в плечи, начальник тыла дивизии виновато и молча смотрел Иверзеву в грудь.

— Почему не разгрузили эшелон? Вы понимаете, что вы наделали? Чем дивизия будет стрелять по немцам? Почему не разгрузили? Поч-чему?..

— Товарищ полковник... Я не успел...

— Ма-алчите! Немцы успели!

Иверзев шагнул к майору, и тот снова вскинул широкий мягкий подбородок, уголки губ его мелко задергались, будто он хотел заплакать; офицеры, стоявшие рядом, отводили глаза.

В ближних вагонах рвались снаряды; один, видимо бронебойный, жестко фырча, врезался в каменную боковую стену вокзала. Посыпалась штукатурка, кусками полетела к ногам офицеров. Но никто не двинулся с места, не пригнулся, лишь

поглядели на Иверзева: плотный румянец залил его другую щеку.

— Под суд! — низким голосом выговорил Иверзев. — Я отдам вас под суд! Полковник Гуляев, подойдите ко мне!

Гуляев, оправляя китель, подошел с готовностью; но этот несдержанный гнев командира дивизии, это усталое, измученное лицо начальника тыла сейчас уже неприятно было видеть ему. Он недовольно нахмурился, косясь на пылающие вагоны, проговорил глухим голосом:

— Пока мы не потеряли все, товарищ полковник, необходимо расцепить и рассредоточить вагоны. Где же вы были, любезный? — невольно поддаваясь презрительному тону Иверзева, обратился Гуляев к начальнику тыла дивизии, оглядывая его с тем болезненно-сострадательным выражением, с каким глядят на мучимое животное.

Майор, безучастно опустив голову, молчал; седые слипшиеся волосы его топорщились у висков неопрятными косичками.

— Действуйте! Дей-ст-вуй-те! Что вы стоите? В-вы, растяпа тыла! — крикнул Иверзев бешеным шепотом. — Бегом! Все делать бегом! Марш! Товарищи офицеры, всем за работу! Полковник Гуляев, разгрузка боеприпасов под вашу ответственность!

— Слушаюсь, — ответил Гуляев.

Иверзев услышал глуховатый голос Гуляева и, хотя понимал, что это «слушаюсь» еще ничего не решает, все же, сдерживая себя, перевел внимание

на коменданта станции — сухощавого, узкоплечеого подполковника, замкнуто и нервно курившего возле ограды вокзала, — и добавил тише:

— А вы, товарищ подполковник, ответите перед командующим армией за все сразу! За все!..

Подполковник не ответил, и, не ожидая ответа, Иверзев повернулся — офицеры расступились перед ним — и стремительно, крупными шагами пошел к «виллису» в сопровождении молоденького, тоже как бы рассерженного адъютанта, щеголевато затянутого в новые ремни.

«Уедет в дивизию», — подумал Гуляев без осуждения, но с некоторой неприязнью, потому что по опыту своей долгой службы в армии хорошо знал, что в любых обстоятельствах высшее начальство вольно возлагать ответственность на подчиненных офицеров. Он знал это и по самому себе и поэтому не осуждал Иверзева. Но неприязнь объяснялась главным образом тем, что Иверзев назначил ответственным именно его, безотказного работягу фронта, как он иногда называл себя, а никого другого.

— Товарищи офицеры, прошу ко мне!

Гуляев лишь сейчас близко увидел коменданта станции; лицо коменданта, меловая бледность, его вздрагивающие худые пальцы, державшие сигарету, ясно объяснили ему, что этот человек только что пережил. «Отдадут под суд. И за дело», — подумал Гуляев без жалости и сухо кивнул подполковнику, встретив ищущий его взгляд.

— Ну, будем действовать? Так, что ли, комендант?

Когда несколько минут спустя комендант станции и Гуляев отдали все распоряжения офицерам и к горящим составам, зашипев паром, подкатил маневровый паровозик с перепуганно высунувшимся машинистом, и тяжелые танки стали, глухо ревя, сползать с тлеющих платформ, тогда к полковнику, кашляя, перхая, моргая слезящимися от дыма глазами, подбежал начальник тыла дивизии, затряс седой головой: он задышался.

— Боеприпасы одним паровозом мы не спасем! Погубим паровоз, людей, товарищ полковник!..

— Эх, братец вы мой, — досадливо поморщился Гуляев. — Разве вам в армии служить? Где ж вы фуражку потеряли?

Майор скорбно улыбнулся, его опущенные руки жалко теребили полы помятого кителя.

— Я постараюсь... Я все, что смогу... — заговорил он умоляющим голосом. — Комендант сообщил: прибыл эшелон. Из Зайцева. Стоит за семафором. Я сейчас за паровозом. Разрешите?

— Мигом! — скомандовал Гуляев. — Одна нога здесь... И, ради бога, не козыряйте. Как корягу, руку подносите, черт бы драл! И без фуражки!..

Майор отдернул руку, как обожженную, сконфуженно попятился и потом побежал к перрону, рыхло колыхая спиной, неуклюже подпрыгивая, наталкиваясь на танкистов; они раздраженно матерились. Его мешковатый китель, взлохмаченная

голова мелькнули в последний раз в конце перрона, исчезли в сизо-оранжевом дыму возле крайних вагонов, где с треском, визгом осколков лопались снаряды.

— Жорка! А ну, за майором! Помоги! А то носит его... видишь? За смертью гоняется! — сказал Гуляев.

Жорка ухмыльнулся, ответил небрежно:

— Есть. — И двинулся за майором своей цепкой скользящей походкой.

Полковник Гуляев стоял около вокзала, глядел на пылающие вагоны со вздыбленными крышами, понимал, что все здесь, охваченное огнем, могло спасти только чудо. Он думал о том, что этот пожар, уничтожающий боеприпасы и снаряжение не только для истощенной в боях дивизии, но и для армии, оголял его полк, батальоны которого подтянулись к Днепру в течение прошлой ночи. И как бы умны ни были сейчас распоряжения Гуляева, как бы ни кричал он, ни взвинчивал людей, все это теперь не спасало положения, не решало дела.

Он видел, как, убегая в дым и вновь выныривая в просветах пожара, маневровый паровозик, свистя, носился по путям с прилипшим к буферу сцепщиком, разъединял искореженные осколками вагоны, оглушая лязгом железа, толкал их в тупики. Танки обрушивались через края платформы на бревна, скатывались на землю; недовольно ревя, как обожженные звери, уползали к лесу; он начинался тут же за станционным зданием.

Мимо вокзала пробежал высокий танкист-подполковник, брови подпалены, лицо озлобленное, все в темных полосах гари; он не заметил Гуляева.

— Подполковник! — зычно окликнул Гуляев, чуть подбирая полнеющий живот, как делал это всегда, готовый отдать приказ.

— Что вам? — Танкист остановился, воспаленные веки сузились. — Я слушаю!

— Сколько танков вышло из строя?

— Не подсчитано!

— Вот что! Освободятся люди, пошлите их на расцепку вагонов! Сейчас придет еще паровоз...

— Я людьми швыряться не намерен, товарищ полковник! Воевать без людей буду?

— А как же будет воевать дивизия? А? Вся дивизия? — спросил Гуляев, чувствуя, что снова сбивается на тон Иверзева, и раздражаясь на себя за это.

У танкиста собрались в одну линию почерневшие губы; он ответил твердо:

— Не могу! Я отвечаю за своих людей, полковник!

В ближайшем вагоне с грохотом взорвалось несколько снарядов, взметнулась крыша, дохнуло обжигающим жаром, запахом тола. Лицам стало горячо. На мгновение оба отвернулись, их заволокло дымом; танкист закашлялся.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться? — послышался в эту минуту за спиной Гуляева насмешливый голос.

— По-до-жди-те! Подождите! — холодно, не оборачиваясь, проговорил Гуляев, упорно глядя на кашляющего подполковника-танкиста, и добавил уже жестко: — Я потребую... потребую выполнения!

— Товарищ полковник, разрешите обратиться?

— Кто еще тут? Что угодно? — Гуляев, поморщась, круто повернулся и тотчас, не понимая, удивленно и громко воскликнул: — Капитан Ермаков? Борис? Откуда тебя черти принесли?..

— Здорово, полковник Гуляев!

Среднего роста капитан в летней выгоревшей гимнастерке с темными следами от портупей стоял возле. Талия узко перетянута ремнем, тень от козырька падала на половину смуглого лица, карие, почти черные глаза, белые зубы блестели в обрадованной улыбке.

— Ну, здорово, полковник! — оживленно повторил он. — Что, не верите? Доложить, что ли?

— Да откуда тебя черти принесли? — проговорил, затоптавшись, Гуляев, сначала сурово нахмурился, потом засмеялся, грубовато стиснул капитана в объятиях и сейчас же отстранил его, засопев, косясь назад.

— Идите, — буркнул он танкисту. — Идите.

— Дайте жрать, полковник! Толком четыре дня не ел! — сказал капитан, улыбаясь. — И сутки без дымового довольствия!..

— Да откуда ты?.. Докладывай!

— Из госпиталя. Ждали в пути, когда кончится у вас тут. Потом появляется Жорка с майором, ну и... прикатили на паровозе.

— Легкомыслие? Шутишь все? — пробормотал Гуляев, всматриваясь в заштопанный рукав капитанской гимнастерки, и густо побагровел. — Не писал из госпиталя, хинная ты душа! А? Молчал, ухарь-купец!

— Я хочу не есть, а жрать! — ответил капитан, смеясь. — Дайте хоть сухарь! Водки не прошу!

— Жорка! — крикнул полковник. — Проведи капитана Ермакова к машине!

Жорка, до этого скромно стоявший в стороне, просветлел лицом, заговорщицки подмигнул капитану голубым невинным глазом:

— Тут в лесу. Недалеко.

Все, что можно было сделать в создавшихся обстоятельствах, было сделано. Устало догорали загнанные в тупики вагоны; с последним, как бы неохотным треском запоздало рвались снаряды. Пожар утих. И только теперь стало видно, что стоял теплый, погожий день припозднившегося бабьего лета. Чистое сияющее небо со стеклянно высокой синевой развернулось над лесной станцией. И только на западе почти неуловимо светились в бездонной его глубине беззвучные зенитные разрывы.

Порыжевшие, тронутые осенью приднепровские леса, окружавшие черное пепелище путей, стали видны, как в бинокль.

Полковник Гуляев, потный, разомлевший, не без наслаждения скинув горячие сапоги с усталых ног, подставив ноги солнцу и расстегнув китель, так что видна была волосатая пухлая грудь, лежал в стационарном садике под облетевшей яблоней. Здесь все по-осеннему поблекло, поредело, везде неяркий блеск солнца, везде хрупкая прозрачная тишина, вокруг легкий шорох палых листьев, чуть-чуть тянуло свежим воздухом с севера.

Капитан Ермаков лежал рядом, тоже без сапог, без ремня и фуражки. Полковник, хмурясь, сбоку рассматривал его исхудалое, побледневшее лицо, прямые брови, — черные волосы упали на висок, шевелились от ветра.

— Та-ак, — проговорил Гуляев. — Значит, раньше времени прибежал? Что, не терпелось, терпелу не было?

Борис вертел опавший желтый яблоневый лист, задумчиво улыбаясь, внимательно щурился на него.

— Променять госпитальную койку вот на это... стоило, честное слово, — ответил он, сдунул лист с ладони, затем спросил полусерьезно: — Вы что-то, полковник, растолстели? В обороне стоите?

— Ты мне не вкручивай, — недовольно перебил Гуляев. — Я спрашиваю, почему прибежал?

Борис потянулся к яблоне, сорвал голую веточку, опять внимательно осмотрел ее, сказал:

— Вот, оторвал эту ветку — и она погибла. Верно? Ну ладно, оставим лирику. Как там моя батарея, жива?

Он, слегка усмехнувшись, взглянул на полковника, повторил:

— Жива?

— Твоя батарея ночью форсировала Днепр. Ясно? — Гуляев, сопя, повернулся, поерзал животом по желтой траве, по сухим листьям, раздраженно спросил: — Ну, еще вопросы?

— Кто командует батареей?

— Кондратьев.

— Это хорошо.

— Что хорошо?

— Кондратьев.

— Вот что, — грубовато и решительно проговорил Гуляев, — хочу предупредить тебя, и без шуток, дорогой мой. Будешь грудью по-дурацки, по-ослиному пули ловить, храбрость показывать — к чертовой бабушке спишу в запасной полк! И баста! Спишу — и баста!

— Ясно, — сказал Борис.

— Убьют дурака. Что?

— Ясно, — кивнул Борис. — Все ясно.

Обветренное, крупное, заметное покатым морщинистым лбом лицо полковника медленно отпускало с себя выражение недовольства, нечто похожее на улыбку слабо тронуло его губы, и он проговорил с грустным весельем:

— Оторванная ветка! Ска-жит-те! Философ, пороть тебя некому!

Лежа на спине, Борис по-прежнему задумчиво глядел в холодноватую синеву неба, и Гуляев поду-

мал, что этому молодому здоровому офицеру мало дела до его слов, до откровенного беспокойства, не предусмотренного никаким уставом, — они знали друг друга со Сталинграда. Был полковник одинок, вдов, бездетен, и он как бы видел в Ермакове свою молодость и многое прощал ему, как многое прощал и себе в те годы, как это иногда бывает у немало поживших и не совсем счастливых одиноких людей.

Долго лежали молча. Пустой, перепутанный паутиной садик был насквозь пронизан золотистым солнцем. В теплом воздухе планировали листья, бесшумно стучаясь о ветви, цепляясь за паутину на яблонях. В тишину долетало отдаленное гудение танков из леса, тонкое шипение маневрового паровозика на путях: отзвуки жизни.

Сухой лист упал полковнику на плечо. Он медленно смял его в кулаке, скосил глаза на Бориса.

— Прорывать оборону будем. Крепкий орешек на правом берегу. Что молчишь?

— Так, думаю. И сам не знаю о чем, — сказал Борис.

Со стороны вокзала, приближаясь, послышались голоса, показавшиеся странными здесь, — женские голоса, звучные и будто стеклянные в тихом воздухе полуоблетевшего сада. Полковник Гуляев, неловко повернув обожженную шею, крикнул от боли, удивленно оглядываясь, спросил:

— Это что же такое?

По тропинке от вокзала через сад двигались две женщины, несли огромный сундук, переплетенный веревками. Одна, молодая, гибкая, босоногая, в выцветшей блузке, небрежно заправленной в юбку, косынка надвинута на тонкие брови, шла изогнувшись, напрягая крепкие икры; другая — в мужской поношенной телогрейке, в сапогах, смуглое лицо изможденно, потно, волосы растрепались, и солнце, бившее сзади, просвечивало их.

— Далеко ли, красавицы-бабоньки? — крикнул Гуляев и, кряхтя, сел, медленно потирая колени.

Женщины опустили сундук. Молодая выпрямилась, нестеснительно оглядела грузноватую фигуру Гуляева, игриво-дерзким взглядом скользнула по лицу Бориса и вдруг фыркнула, засмеялась.

— Помогли бы, товарищ полковник, вещи у нас больно тяжелые! Серьезно...

Борис спросил с явным интересом:

— А вы что же, недалеко здесь живете? Вы здешние?

Молодая заулыбалась, выставив грудь, ловкими пальцами поправляя косынку, а та, постарше, что в телогрейке, низко опустив лицо, смутилась, смугло покраснела. Молодая бойко сказала:

— Мы рядом тут. В лесу село... Одни мы! Просто одни. Помогли бы, а?

— Пойдем? — полувопросительно сказал Борис. — А, товарищ полковник?

— Да ты что? — свирепым шепотом остановил его Гуляев, протестуяще замахав крупной рукой. —

Не в форме мы, красавицы, босиком, видите? Наше дело военное, бабоньки, некогда нам! Идите, идите!

Немного спустя, когда женщины скрылись в глубине сада, полковник, наморщив озабоченно лоб, заторопился, стал натягивать шерстяные носки, говоря:

— Ну все. Поехали. Хватит.

Борис шутливо сказал ему:

— А может быть, пойдем? Надо бы помочь.

— Да ты что? — Гуляев, побагровев, встал, ожесточенно вбил ногу в узкий сапог, резко одернул на животе китель. — Нечего нам тут. Пошли. Залежались. Дел по горло!

Косматое нежаркое солнце садилось в леса.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ночь застала их в дороге, холодная, звездная октябрьская ночь. Шумом, движением, людскими голосами была наполнена лесная темнота. Жорка изредка включал фары, и в белом коридоре их то мелькала оскаленная, скошенная на свет морда лошади, то заляпанный грязью борт грузовика, то кухня, разбрызгивающая по дороге раскаленные угли, то щит орудия и нахохленные спины ездо-вых, то серые, непроспанные лица солдат. Все это шло, двигалось, ехало, копошилось, скакало во тьме туда, где за лесами тек Днепр.

— Гаси! Гаси фары, дьявол! — метнулся от подпрыгивающей впереди повозки крик, мимо

скользнуло белое лицо ездового, и по борту «виллиса» жестяно хлестнул кнут.

— Надо бы через спину тебя протянуть, — ворчливо пробормотал в сторону Жорки полковник. — А ну, гаши. И перестань жевать, ну?

Хмуρο вобрав голову в плечи, Гуляев смотрел сквозь ветровое стекло на дорогу; Жорка лениво грыз сухарь, одной рукой держал баранку, изредка поглядывал вверх, где текло мерцающее холодное небо.

— Вот бродяги! — сказал он, жуя, и спрятал сухарь в карман. — Гляньте-ка, товарищ полковник, опять фонари развесили.

В небе распускался сумрачный желтый свет: четыре осветительные бомбы, роняя искры, высоко висели над лесами среди звезд. Они медленно летели, косо и тихо опускаясь. Вверху выступили из темноты, четко прорезались оголенные вершины деревьев. Лес сразу ожил, черные тени деревьев поползли, задвигались на дороге, мешаясь с тенями людей, машин, повозок; впереди ожесточенно взревели танки, кто-то зычно подал команду из глубины колонны:

— Сто-ой!

Жорка вопросительно поднял одну бровь; полковник пробормотал в воротник:

— Объезжай.

«Виллис» обогнул колонну машин, тесно сгрудившиеся повозки, орудия, понесся впритирку к лесу, ветви захлестали, забили по бортам,

по стеклу, упруго подбрасывало на корневищах. Деревья расступились, стало по-дневному светло. Над головой, разгораясь, плыли «фонари». Впереди с громом рванулось двойное пламя, и в лесу ахнуло, загремело, как в пустых коридорах.

— Куда? Куда под бомбы прешь? Не видишь? — закричал кто-то отчаянным голосом, и человеческая фигура метнулась перед радиатором. — Ку-уда?..

— Стоп! — скомандовал Гуляев, занося вон из машины ногу.

«Виллис» круто затормозил, и Борис ударился бы о спинку переднего сиденья, если бы не спружинил руками. Полковник вылез, пошел вперед. На дороге чернела, тускло освещенная «фонарями», колонна танков; моторы работали, стреляя резкими выхлопами, танки двигались толчками к матово блестящей воде. Там, в проходе, образованном съехавшими к обочине повозками и кухнями, они с гулом вползали на качающийся понтонный мост.

— Днепр? — быстро спросил Борис, наклоняясь к уху Жорки.

— Не-е, рукав... Днепр дальше, — ответил Жорка, поглядывая на небо. — Почуяли, бродяги, все время тут долбят... Во кинул, бродяга. Слышите — поросята завизжали?..

Заглушая гул танковых моторов, крики у переправы, ржанье лошадей, новые пронзительные, рвущие воздух звуки возникли в небе. Небо обрушилось: ослепляя, брызнули шипящие кометы,

полыхнули огнем в глаза; «виллис» резкой силой толкнуло назад. Борис, испытывая холодно-щекочущее чувство опасности, притупившееся в госпитале, смотрел на разрывы. Потом увидел в хаосе рвущихся вспышек вопросительно повернутое лицо Жорки; сквозь грохот прорвался его голос:

— Ложи-ись, товарищ капитан! Пикирует!

Борис, возбужденный, с сжавшимся сердцем — отвык, отвык! — делая размеренные движения, вылез из машины и, чувствуя глупость того, что делает, заставил себя не лечь, а стоять, наблюдая за дорогой.

В ту же минуту он поднял голову: нарастающий рев мотора стал давить на уши. С белесого неба стремительно падала на переправу тяжелая тень, оскаливаясь пулеметными вспышками. И Борис поспешно лег возле машины. Малиновые короткие молнии, будто поднимая ветер, отвесно неслись вдоль колонны. Упала, забилась в оглоблях, заржала лошадь. «О-ох, о-ох», — послышалось из леса; что-то зашлепало по мокрому песку возле головы Бориса. И он непроизвольно нащупал и отбросил горячую крупнокалиберную гильзу.

В глубине леса гулко и запоздало застучали скорострельные зенитные орудия. Трассы вслепую рассыпались в небе, все мимо, мимо низкого тяжелого силуэта самолета. Гул его удалялся. Зенитки смолкли. Стало тихо. «Фонари» опустились к самой воде. И было слышно, как по ту сторону рукава отдаленно рокотали танки. Они переправи-

лись во время бомбежки. Борис поднялся с земли, разозленный и неприятно подавленный тем, что чувство страха оказалось сильнее его, отряхнул мокрый налипший песок с коленей, подумал: «Разнежился. Все. Конец. Прежняя жизнь начинается».

— Из санроты! Где санрота? Санитары! — донесся крик из колонны, и она зашевелилась, задвигались фигуры меж повозок и машин.

— Жорка! — раздался голос полковника. — Все целы?

— Целы, целы. Поехали, — ответил Борис преувеличенно спокойно.

«Виллис» снова понесся по дороге к близкому Днепру.

Борис смотрел на мелькающие стволы берез, на темную нескончаемую колонну; сырой ветер обливал холодом потную от возбуждения шею, еще не проходило раздражение на самого себя после только что пережитого страха: он не любил себя такого.

Так же как большинство на войне, Борис боялся случайной смерти: смерть в нескольких километрах от фронта всегда казалась ему такой же унизительно-глупой, как гибель человека на передовой, вылезшего с расстегнутым ремнем из окопа по своей нужде.

— Началось наше, — сказал Жорка, снова осторожно захрустел сухарем и включил на мгновение фары. Вспыхнув, они скользнули по борту буксующего на дороге «студебеккера», осветили маслено заблестевшую пехотную кухню в кустах,

толпу солдат с котелками, потом на перекрестке дорог выхватили на стволе сосны деревянную табличку-указатель: «Хозяйство Гуляева». Эта стрела показывала влево. Другая прямо — «Днепр». Машины, повозки и люди текли туда через лес, неясный зеленый свет загорался и гас там над вершинами деревьев.

Полковник Гуляев кивнул:

— Давай в хозяйство.

— Жорка, останови! — громко сказал Борис.

— Что такое?

«Виллис» остановился. Жорка перестал жевать. Ветер сразу упал. Был слышен буксующий вой «студебеккера», скрип колес, фыркание лошадей, голоса. Борис молча спрыгнул на дорогу, потянул из машины планшетку.

— В батарее? — устало спросил полковник Гуляев и повторил: — В батарее? Так вот что. Там тебе уже делать нечего. Н-да! Кондратьев там. Артиллерии в дивизии много. Найдем место. Не торопись. Была бы шея, а хомут...

— Может, в адъютанты возьмете, полковник? — усмехнулся Борис. — Или в комендантский взвод?

Не отвечая на вопрос, Гуляев поерзал, тяжело засопел.

— А! Некогда мне тут с тобой антимонии разводить! Некогда! — Гуляев вдруг с силой толкнул Жорку локтем. — Поехали! Спишь? Гони, гони! Что смотришь?

Бориса обдало теплым запахом бензина, махнуло по лицу ветром, темный силуэт «виллиса» запрыгал в глубине лесной дороги, исчез.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Серии ракет всплывали над Днепром на той стороне; черная вода тускло поблескивала возле берега. Свет ракет опадал клочьями мертвого огня, и тогда отчетливо стучали крупнокалиберные пулеметы. Трассирующие пули веером летели через все пространство реки, вонзались в мокрый песок острова, тюкали в сосны, вспыхивая синими огоньками. Это были разрывные пули. Срезанные ветви сыпались на головы солдат, на повозки, на котлы кухонь.

По несколько раз подряд на той стороне скрипуче «играли» шестиствольные минометы. Все небо расцветивалось огненными хвостами мин. С тяжким звоном, сотрясая землю, рвались они, засыпая мелкие, зыбкие песчаные окопчики. Немцы били по всему острову — на звук голосов, на случайную вспышку зажигалки, на шум грузовиков. А остров кишел людьми.

Ночью стало холодно, сыро и ветрено. Сосны по-осеннему тягуче гудели в темноте, от воды вместе с ветром приносило тошнотворный запах разлагающихся трупов — их прибывало течением.

Но там, возле воды, были и живые люди — постукивал топор, доносились голоса, кто-то ругался

грубо, сиплый тенор, не сдерживая душу, костерил кого-то:

— Ты чего сигарки жуешь, а? Ты сколько раз собрался умирать, растяпа! А ну, бросай!..

И было видно, как при взлете ракет черные силуэты саперов падали в воду, на песок; прекращался стук топора. Изредка тот же сиплый тенор, поминая бога и мать, звал санитаря, потом кого-то уносили на плащ-палатке, спотыкаясь о воронки.

А метрах в ста пятидесяти от берега, в воронке от бомбы, прикрытый брезентом, тлел костерок из снарядных ящиков. Было дымно здесь, пахло паром сырых шинелей.

Протянув разомлевшие ноги к жидкому огоньку, вокруг сидело и лежало несколько солдат-артиллеристов. Все молчали, дремотно поглядывали на наводчика Елютина. Елютин же, спокойно вытянувшись на снарядных ящиках, задумчиво копался перочинным ножом в разобранных ручных часах.

Сержант Кравчук, крепколицый смуглый парень лет двадцати пяти, помял над огнем высохшую портянку, принял строгий вид и, держа ногу на весу, начал обматывать ее. Потом замер, покопался через плечо.

— Кто это там на голову сел? — сурово поинтересовался он. — Глаза где?

— Лузанчиков вроде, — сказал телефонист Грачев, испуганно разлепляя глаза, и сонно подул в трубку. — Как там, как там? Танки? Мы знаем...

Кравчук шевельнул плечами, медленно повернулся. Подносчик снарядов Лузанчиков, худенький, сжавшись всей мальчишеской фигуркой, приваляясь к его плечу, спал, охватив колени, тонкие до жалости руки подрагивали в ознобе; по его бледному заострившемуся лицу беспокойно бродили тени — отблески мутного сна. Кравчук угрюмо сказал:

— Беда с мальцами. Просто детские ясли.

— А? — спросил во сне Лузанчиков тонким голосом.

Кравчук, подумав, неуверенно приподнялся, потянул из-под себя плащ-палатку и с недовольным видом накиннул ее на плечи Лузанчикова. Тот, не открывая глаз, дрожа веками, закутался в нее, по-детски всхлипнув, подобрал ноги калачиком.

— Н-да-а, чуток не захлебнулся, — сказал Кравчук, наматывая портянку. — Плавать не умеет. Намучаешься с ним.

Замковый Деревянко, весь черный, как жук, ехидно крякнул, сделал вспоминающее лицо, и тотчас все повернули к нему головы.

— На Волге до войны катер ходил освоодовский. И в рупор без конца орал: «Граждане купающиеся, по причине общего утонутия, просьба не заплывать на середину реки!» Тут тебе, Кравчук, в рупор не заорут. Можно быть вумным, как вутка, а плавать, как вутюг! Ты сам за бревно двумя руками держался!

— Хватит молотить! — оборвал его Кравчук. — Смехи все!

Деревянко вздохнул, сожалеюще заглянул в котелок.

— Какой смех! Второй раз на голодный желудок будем переправляться, не до смеху! Где старшина? Я б его пустым котелком разочков пять по загривку съездил. Аж звон пошел бы. Как на передовую — его нет!

— Ладно, разберемся, — ответил Кравчук, вставая.

В это время Елютин поднял голову, прислушался и сказал:

— Летят.

Где-то вверху, над брезентом, вырос давящий шорох — шу-шу-шшу-у, — перерастая в тяжелый рев, и близкие разрывы потрясли воронку, подкинуло костер, ящики. Брезент взметнулся над краем воронки, и сюда, к костру, горячо дохнув, ворвалась ночь. Кравчук опытно пригнулся. Елютин быстро рукой накрыл часы, словно птицу поймал ладонью. Деревянко заинтересованно крутил в руках пустой котелок. Откинув плащ-палатку, Лузанчиков испуганно сел, поводя круглыми непонимающими глазами.

— Бомбят? — растерянно спросил он. — Бомбят? Да?

— Дальнобойная дура щупает, — ответил Кравчук, рванул брезент на воронку. — По квадратам бьет.

Стало тихо. С тонким свистом над брезентом запоздало пролетел обессиленный осколок, тяжело и мокро шлепнулся в песок.

Тут, шурша ботинками по песку, в воронку скатился огромный солдат, в короткой не по росту шинели, автомат висел на груди. Его широкое самоуверенное лицо, блестящие небольшие глаза, незажженная самокрутка в зубах озарились отблесками костра. Он потер красные руки, весело, бедово глянул на Елютина, на нахмуренного Кравчука, присел на корточки к огню.

— Греемся, братцы славяне? Дай-ка за пазуху трошки угольков. Тебя, Кравчук, к комбату. И от Шурочки привет!

На щеках Кравчука зацвел смуглый румянец.

— Ты чего развеселился? — с ленивой суровостью спросил он. — Почему с поста ушел, Бобков, что, у бабки на печке?

— Если б на печке — кто бы отказался?

Бобков выхватил уголек из огня, перекатывая его на ладони, прикурил, сосредоточенно почмокал губами.

— Старший лейтенант говорит: иди, мол, отдохни, я все равно тут. На снарядах с Шурочкой сидят. Вроде мечтают.

Кравчук сердито посмотрел на него, откинул брезент и выкарабкался по скату воронки наружу, в холодную, сырую тьму.

Ветер шумел, топтался в кронах сосен. Дуло студено с Днепра. Там по-прежнему, распарывая потемки, взмывали ракеты, освещая черную воду и черное небо.

Поеживаясь от холода (у костра разморило), Кравчук поглядел на красные стаи пуль, которые, обгоняя друг друга, неслись к острову, осуждающе нахмурясь, послушал гудение машин, скрип повозок по песку, голоса в темноте, пошел, натываясь на корневища.

— Старший лейтенант! — вполголоса позвал он, ничего не видя в плотной черноте осенней ночи.

Впереди послышалось покашливание, потом отозвался мягко картавящий, спокойный голос:

— Вы, Кравчук?

— Я.

— Садитесь сюда. Скляра я послал искать старшину. Исчез куда-то старшинка. Кухни до сих пор нет.

— Тут ведь стреляют, — насмешливо произнес в темноте женский голос.

Кравчук огляделся. На снаряжных ящиках, подняв воротник шинели, сидел старший лейтенант Кондратьев; возле, почти сливаясь с ним, — батарейный санинструктор Шурочка. Когда Кравчук сел, она не отодвинулась от комбата. Он сам чуть отстранился, простуженно спросил:

— Как там?

— Что же вы к костерку-то не идете, товарищ старший лейтенант? — Кравчук неодобрительно покосился на освещенное ракетой бледное лицо Шурочки, добавил: — Кашляете... А шинель мокрая небось...

— Все обсушились? — отозвался Кондратьев. — Как Лузанчиков?

— Озяб. Опомниться не может.

— Что от Сухоплюева?

— Танки, говорят, там ходят.

— Это мы и отсюда слышим, — по-прежнему насмешливо сказала Шурочка, точно мстя Кравчуку за его осуждающий взгляд.

— Да, это я отсюда слышу, — повторил Кондратьев задумчиво. — Гудят.

И в это время с того берега ударили танки. Разрывы на кромке острова осветили черные склоненные фигуры саперов.

— Вот они... Прямой наводкой, — сказал Кравчук. — В обороне врыты. Ну, зацепился он тут. Что ж, опять купаться будем, товарищ старший лейтенант?

Он спросил это без улыбки, без намека на шутку — Кравчук не умел шутить — и долго глядел на тот берег, ожидая, что скажет Кондратьев. Тот молчал, молчала и Шурочка, и, понимая это молчание по-своему, Кравчук подумал, что до его прихода был между ними иной разговор. Он осуждал командира батареи; но с особенной неприязнью судил он вызывающую эту Шурочку, которая открыто льнула к Кондратьеву. Он осуждал ее ревниво и хмуро, потому что хорошо знал о прежних отношениях ее и капитана Ермакова. Кравчук недолго любил Кондратьева за его странную манеру отдавать приказания: «прошу вас», «не забудьте»,

«спасибо» — и порой с чувством неудовольствия и удивления вспоминал те времена, когда капитан Ермаков перед всей батареей называл старшего лейтенанта умницей.

После того как капитан Ермаков отбыл в госпиталь и место его занял командир первого взвода Кондратьев, санинструктор Шурочка стала властно, на виду всей батарее, брать его в руки, командовать им, и Кравчука оскорбляло это бабье вмешательство. До этого он пытался защищать Шурочку: тонкая, с высокой грудью, в ладной, всегда чистой гимнастерке, в хромовых сапожках, она вызывала в нем трудную тоску по женской ласке, но когда теперь Деревянко едко говорил, что Шурочка из тех, кто вечером ляжет на одном конце блиндажа, а утром проснется на другом, Кравчук не останавливал его, как прежде.

— Так как же, товарищ старший лейтенант? — переспросил Кравчук, в темноте чувствуя на себе взгляд Шурочки. — Снова купаться будем?

Помолчав, Кондратьев ответил тихо:

— Вряд ли все переправимся нынче ночью. Только что я разговаривал с саперным капитаном. Ругается на чем свет стоит — восемь человек у него за два часа выкосило. Пойдемте. Посмотрим, как там...

Он встал, и Кравчук увидел в мерцании ракет его невысокую, чуть-чуть сутуловатую фигуру в мешковатой шинели с нелепо поднятым воротником.

«Экий слабак, искупался в Днепре — простуду схватил», — неодобрительно подумал никогда в жизни не болевший Кравчук. Шурочка тоже поднялась, гибко, бесшумно, только сапожки скрипнули. Сказала властно:

— Старший лейтенант Кондратьев!

— Что, Шурочка?

— С вашим бронхитом не советую лазить в воду. Вам у костра погреться надо. Портянки просушить. Шинель. Выпить водки с аспирином.

— Что же делать, Шурочка? — виновато ответил Кондратьев. — Старшины нет... Водки нет.

«Что ты, умная такая, раньше обо всем этом молчала?» — сообразил Кравчук и, сдерживая злость, сказал:

— На войне нет бронхита.

Кондратьев смущенно проговорил:

— Да, да, конечно. Идемте, Кравчук.

— Ну что же, пойдём! — твердо сказала Шурочка, как будто Кондратьев обращался к ней. И все время, пока шли в темноте меж сосен, пока шагали по острову к берегу, Кравчук неотступно слышал позади тонкий решительный скрип песка под Шурочкиными сапогами, думал: «Экая сатана бабенка, ничего не боится, закрутит Кондратьеву голову. И кто это выдумал женщин на войне держать! Одна беда, неразбериха, тоска от них!»

Остановились на берегу, в сырой тьме, пронизываемые ветром. С явным недоверием при-

слушались к короткому затишью на той стороне — странно молчали пулеметы в непроницаемо сгустившейся ночи. Из темноты веяло сладковатой гнильцой трупов.

— Вот, — прошептал Кравчук. — Притихли...

— Ужин, — ответил Кондратьев, сдерживая кашель. — Немцы пунктуальны...

Потом донесся тяжелый стук топора, голоса у самой воды, отрывистые команды: «Шевелись! По-быстрому!» Там, внизу, двигались саперы вокруг смутного пятна парома, и Кондратьев окликнул:

— Капитан, капитан!

— Кто там? Эй! Кто там? — отозвался из потемок прокуренный начальственный баритон. — Слуцкий, что ли? Давай сюда!

Кондратьев не успел ответить. Над Днепром с шипением повисли гроздь ракет, заработали пулеметы, смешались зеленые и белые светы в небе, смешались трассы, конусом несясь к парому, и весь берег, паром, фигурки саперов озарились, проступили из ночи, как на желтом листе бумаги. Гулко, сдваивая, ударили танки. Слева возник широкий дымящийся синий столб, скользнул по берегу и уперся в какую-то лодчонку, возле которой мигом рассыпались люди.

— Ложись!

Они упали на мокрый песок, в свежую щепку возле самого парома, над головой мелькали трассирующие пули, Шурочка упала рядом с Кравчуком.

— Разрывные, — пояснил Кравчук и увидел: к лежавшему впереди Кондратьеву подползает от парама человек в офицерской фуражке.

— Кто такие? — спросил, преодолевая одышку, начальственный баритон.

— Как дела с паромом? — ответил Кондратьев.

— А вы не видите? Ей-богу! Ходите, демаскируете. Людей у меня косит. Дайте солдат. Человек пять-шесть. И дуйте отсюда.

— Сколько нужно людей?

— Десять человек.

— Много просите, — мягко возразил Кондратьев, и Кравчук, услышав, подумал облегченно: «Вроде правильно...»

— Ну, давай, давай отсюда, артиллеристы... Видишь, прожектора появились... Давай! Не демаскируй!

Они ползком выбрались из района саперов, встали и молча двинулись в глубь острова. Кондратьев покашливал. Шурочка шла рядом с ним. Кравчук спросил:

— Кого пошлем?

— Подумаем, — невнятно ответил Кондратьев.

Впереди послышалось фыркание лошади, легкий металлический звук; под деревьями, низко над землей, затлели угольки, дохнуло теплым запахом подгоревшей пшенной каши.

— Кто идет? — раздался негромкий полувеселый окрик.

— Это вы, Скляр? — сдерживая кашель, спросил Кондратьев. — Что, нашли старшину?

— Товарищ старший лейтенант, вы только, пожалуйста, не удивляйтесь. Вы не поверите своим ушам! — торопясь, оживленно заговорил невидимый в темноте Скляр. — Вы не поверите своим ушам, кого я привез от старшины! Он был у старшины...

— Что, что? — не понял Кондратьев. — О чем вы?

— Я вам не скажу, вы сами посмотрите! — восторженно воскликнул Скляр. — Это почти военная тайна...

Кравчуку не понравился этот вольный оборот речи.

— Что такое? — грозно повысил голос Кравчук. — Почему так со старшим лейтенантом?

— Я извиняюсь! Товарищ старший лейтенант... товарищ сержант, вы не поверите своим ушам! Вы сами посмотрите, — произнес Скляр секретным шепотом. — Там, в воронке!

Они подошли к бомбовой воронке, оттуда доносился говор. Кондратьев откинул брезент, и все трое соскользнули вниз, к костру, в дым, в тепло, в запах парных шинелей.

Возле огня, в окружении солдат и потного растерянного старшины Цыгичко, сидел на ящике капитан Ермаков, свежесбривший, веселый, в расстегнутой на груди шинели, ел из котелка горячую кашу, дул на ложку, глядя на вошедших темными

улыбающимися глазами. И обрадованный Кравчук мгновенно успел заметить, как Шурочка закусил белыми зубами губу, как золотая пуговка на высокой ее груди всколыхнулась, как у Кондратьева стало беззащитным лицо.

— Сережка!.. — воскликнул Борис, бросил со звоном ложку в котелок и, оттолкнув умиленно улыбающегося старшину, быстро встал: — Здравствуй, Сережка! Здравствуй, Шура! Здорово, брат Кравчук!

Он сильно обнял Кондратьева, потом Кравчука, шутливо обнял и Шуру, звонко поцеловал ее в щеку, засмеялся, снова сел на ящик, взял котелок.

— А ну-ка, садись все! Старшина, котелки да горячую кашу. Да пожирней у меня! Мигом!

— Слушаюсь, товарищ капитан!

Старшина Цыгичко, пожилой человек с острым хрящеватым носом и пухлым откормленным лицом, не вылез — выпорхнул из-под брезента, струйка песка зашуршала, скатываясь к сапогам Шурочки. Кондратьев опустил на кончик ящика, виновато скользнул взглядом по веселому лицу Бориса, проговорил взволнованно:

— Неожиданно ты... Из госпиталя? А я тут за тебя команду...

— Очень рад, — сказал Борис. — Слушай, по дороге я узнал, что у тебя четыре орудия на той стороне, а тут ребята рассказали, что только два... Значит, половины батареи нет? Объясни, пожалуйста.

Кондратьев вздохнул, положил длинные руки на колени и сконфуженно стал говорить, что только два орудия удалось переправить на правый берег. Одно прямым попаданием разбило на пароме, на середине Днепра. Плоты затонули. Четвертое орудие еще не вернулось из армейских мастерских, оно там второй день. Вчера убило лейтенанта Григорьева, ранило сержанта Соляника, Грачева, Дерябина. Остальные добрались сюда вплавь. С ранеными. Это было прошлой ночью. Сегодня ночью снова...

Борис ковырнул ложкой в дымящейся каше, бросил ложку в котелок.

— Значит, фактически батареи нет?

— Да, сейчас от саперов. Просят людей. Бесконечные потери у них.

Борис пристально сощурился на костер, спросил:

— Сколько же они просят людей?

Кондратьев закашлялся, потер грудь, отвел лицо, смущенно стряхивая слезы, выдавленные бухающим простудным кашлем.

— Шесть человек.

По острову пронеслись скачущие разрывы — возле берега, ближе, ближе, справа, слева... Брезент упруго вогнулся. Все сидевшие в воронке напряженно начали есть, никто не глядел на Бориса, на Кондратьева — ожидали. Шесть человек — значит, идти сейчас от этого костра туда, под огонь, в холодную воду, чтобы выполнять не свою работу.

— На чужой шее хотят в рай съездить, — сказал Деревянко безразлично.

Лузанчиков, закутавшись в кравчуковскую плащ-палатку, блестя глазами, придвинулся к костру, Елютин с недоверчивым видом поскреб пустой котелок, перевернул его, а на дно невозмутимо положил часы. И придержал их рукой, потому что часы со звоном заплясали от взрывов. Бобков спокойно вытирал соломой ложку, поглядывал на хмурого Кравчука, а из-за спины его вопросительно, замерев, смотрел телефонист.

Разрывы скакали по острову. Один из них тяжело встряхнул воздух над брезентом.

Тут же в воронку, расплескивая на добротную офицерскую шинель кашу из котелков, шумно вкатился на ягодицах старшина Цыгичко, фальшиво посмеиваясь, сообщил:

— Саданет коло кухни, чтобы его дьявол! Коней начисто побьет! А прожектором по берегу... Да пулеметы... Чешет як сатана!

Он возбужденно раздул ноздри хрящеватого носа, ставя котелки, и почему-то искательно улыбнулся Шурочке. А она, напряженно следя за колебанием костра, бледная, проговорила вдруг с насмешливой дерзостью:

— Все снаряды рвутся около кухни. Давно известно! Стреляют у нас, а снаряды рвутся у вас.

Но в это мгновение никто не поддержал ее. Старшина осторожно поднял щепочку, отошел

в тень, стал аккуратно соскребывать кашу на шинели, вздыхая.

— Шесть человек? — переспросил Борис, нежно посмотрел на Шурочку, на Кондратьева и усмехнулся. — Ни одного человека. Ну, что вы сидите? Куда, к черту, годны сейчас? Наворачивайте кашу.

— Я обещал саперам, — невнятно, картавя сильнее обычного от волнения, возразил Кондратьев и наклонился к огню, стиснув худые руки на коленях. — Видел, что происходит на острове? Саперы просто не успевают...

Борис носком хромового сапога толкнул досщечку в костер — зазвенела начищенная шпора, — подумал, громко позвал:

— Старшина! — И когда Цыгичко со сладким ожиданием повернул к нему сытое тыловое лицо свое, спокойно спросил: — Сколько раз за мое отсутствие опаздывали в батарею с кухней?

— Товарищ капитан, — забормотал Цыгичко. — Як же можно?

— Значит, не меньше шести раз. Так? Ну вот, отберите пять человек ездовых. Вы — шестой. И в распоряжение саперов. Повара Караяна оставьте за себя. Все.

В быстрых, ищущих опору пальцах старшины сломалась щепочка, которой он чистил шинель, откормленные щеки задрожали.

— Товарищ капитан... — И он обессиленно прижал руки к бокам.

Борис, внимательно оглядев его с ног до головы, спросил тоном некоторого беспокойства:

— Много ли у вас еще годных шинелей в обозе? А, Цыгичко?

— Нету, товарищ капитан... Як же можно?..

— На самогон меняете? Или на сало? У вас было двенадцать шинелей в запасе. — Борис встал, бесцеремонно повернул мгновенно вспотевшего старшину на свет, опять осмотрел его. — Ну, что ж. Прекрасная офицерская шинель. Отлично сшита. Снимайте, она вам мала. Вы растолстели, Цыгичко. У вас нефронтовой вид. — И обернулся к Кондратьеву: — Снимите-ка свою шинель. И поменяйтесь. Как вы раньше не догадались, Цыгичко? Люди ходят в мокрых шинелях, а вы и ухом не шевельнете.

Цыгичко, задвигав носом, не сразу найдя пальцами пуговицы, начал торопливо расстегивать шинель; а Кондратьев, с красными пятнами на щеках, невнятно забормотал:

— Не стоит... Не надо это... Зачем?

Руки Цыгичко замедлили свое скольжение по пуговицам. Он замер. Однако, заметив это, Борис слегка поднял голос:

— Снять шинель!

Старшина молча, поеживаясь, как голый в бане, снял шинель, и Кондратьев неловко накинул ее на влажную гимнастерку, отстегнул погоны.

— Марш! — сказал Борис старшине. — И через десять минут с людьми здесь. Ну, все. — Он

улыбнулся Кондратьеву, кивнул Шурочке. — Пошли!

«Хозяин приехал», — удовлетворенно подумал строго наблюдавший все это сержант Кравчук.

И понимающе посмотрел в спину Шурочке, которая вслед за Борисом покорно выбиралась из воронки.

— Ты ждала меня, Шура?

— Я? Да, наверно, ждала.

— Почему говоришь так холодно?

— А ты? Неужели тебе женщин не хватало там, в госпитале? Красивый, ордена... Там любят фронтовиков... Ну, что же ты молчишь? Так сразу и замолчал...

— Шура! Я очень скучал...

— Скуча-ал? Ну кто я тебе? Полевая походная жена... Любовница. На срок войны...

— Ты обо всем этом подумала, когда меня не было здесь?

— А ты там целовал других женщин и не думал, конечно, об этом. Ах, ты соскучился? Ты так соскучился, что даже письмеца ни одного не прислал.

— Госпиталь перебрасывали с места на место. Адрес менялся. Ты сама знаешь.

— Я знаю, что тебе нужно от меня...

— Замолчи, Шура!

— Вот видишь, «замолчи»! Ну что ж, я ведь тоже солдат. Слушаюсь.

— Прости.

Он сказал это и услышал, как Шура ненужно засмеялась. Они стояли шагах в тридцати от воронки. Ветер, колыхая во тьме голоса все прибывавших на остров солдат, порой приносил струю тошнотного запаха разлагающихся убитых лошадей, с сухим шорохом порошил листьями. Они сыпались, отрываясь от мотающихся на ветру ветвей, цеплялись за шинель — по острову вольно гулял октябрь. В темноте смутно белело Шурино лицо, знакомо темнели полоски бровей, и Борису казалось, что сквозь шинель он чувствовал упругую ее грудь. Но ему был неприятен ее ненужный смех, ее вызывающий, горечью зазвеневший голос. Борис сказал:

— Все это мне не нравится, Шура.

Он обнял ее за неподвижно прямую спину, нашел холодные губы, сильно, до боли прижался к ним, почувствовав свежую скользкость ее зубов. Она отвечала ему слабым, равнодушным движением губ, и он легонько раздраженно оттолкнул ее от себя.

— Ты забыла меня? — И, помолчав, повторил: — Ты забыла меня?

Она стояла неподвижно.

— Нет...

— Что нет?

— Нет, — повторила она упрямо, и странный звук, похожий на сдавленный глоток, получился у нее в горле.

— Шура, я тебя не узнаю. Ну, в чем дело? — Он взял ее за плечи, несильно потрянул.

Она молчала. Совсем рядом, едва не задев, ломаясь через кусты и переговариваясь, прошла группа солдат к Днепру. Они что-то несли. Один сказал: «К утру успеть бы...»

Нетерпеливо переждав, Борис обнял Шуру, приблизил ее лицо к своему, увидел, как темные брови ее горько, бессильно задрожали, и, откинув голову, кусая губы, она вдруг беззвучно, прерывисто заплакала, сдерживаясь. Она словно рыдала в себя, без слез.

— Ну что, что? — с жалостью спросил он, прижимая ее, вздрагивающую, к себе.

— Тебя убьют, — выдавила она. — Убьют. Такого...

— Что? — Он засмеялся. — Прекрати слезы! Глупо, черт возьми! Что за панихида?

Он нашел ее рот, сухой, горячий, но она резко отклонила голову, вырвалась и, отступая от него, прислонилась спиной к сосне, оттуда сказала злым голосом:

— Не надо. Не хочу. Ничего не надо. Мы с тобой четыре месяца. Фронтная любовница с ребенком?.. Не хочу! И меня могут убить с ребенком...

— Какой ребенок?

— Он может быть.

— Он, может быть, есть? — тихо спросил Борис, подходя к ней. — Ну, что уж там «может быть»? Есть?

— Нет, — ответила она и медленно покачала головой. — Нет. И не будет. От тебя не будет.

— А я бы хотел. — Он улыбнулся. — Интересно, какая ты мать. И жена. — Потом взял ее руку, сжал сильно, почти приказал: — Хватит слез. В госпитале я тебе не изменял. (Борис обманывал ее.) Умирать не собираюсь. Еще тебя недоцеловал (весело усмехнулся). Ну, поцелуй меня.

Шура стояла, прислонясь затылком к сосне.

— Ну, поцелуй же, — настойчиво попросил он. — Я очень соскучился. Вот так обними (он положил ее безжизненные руки к себе на плечи), прижмись и поцелуй!

— Приказываешь? Да? — безразличным голосом спросила она, пытаясь освободить руки, но Борис не отпустил, уверенно обвил их вокруг своей шеи.

— Глупости, Шура! Ведь я еще не командир батареи. Пока Кондратьев.

— А уже всем приказывал! Как ты любишь командовать!

— Все же это моя батарея. Честное слово, укокошит ни с того ни с сего, как ты напророчила, и не придется целовать тебя...

Шура со всхлипом вздохнула, вдруг тихо подалась к Борису, слабо прижалась грудью к его груди, подняла лицо.

Он крепко обнял ее, ставшую привычно податливой.

«Опять, все опять началось», — думала Шура с тоской, когда они шли к батарее.

Борис говорил ей устало:

— Я рвался сюда. К тебе. Неужели не веришь? «Нет, я не верю, — думала Шура, — но я виновата, виновата сама... Ему нужно оправдывать ненужную эту любовь, в которую он сам не верит... Все временно, все ненадежно... Он рвался сюда? Нет, не я тянула его. Он относится ко мне, как вообще к женщине, ни разу серьезно не сказал, что любит. Да если бы и услышала это, не поверила бы. Он только сказал однажды, что самое лучшее, что создала природа, — это женщина... мать... жена... Жена!.. Полевая, походная... А если ребенок? Здесь ребенок?»

Злые бессильные слезы подступили к ее горлу, сдавили дыхание горячей, душащей спазмой.

А Борис в это время, нежно, сильно прижав ее плечо к своему, спросил обеспокоенным тоном:

— Ну, что молчишь?

Тогда она ответила, сглотнув слезы, чтобы он не заметил их, — все равно не понял бы ее:

— В батарею пришли.

В отдаленном огне ракет возникли темневшие между деревьями снарядные ящики. Силуэт часового около них не пошевелился, когда под ногами Бориса и Шуры зашуршали листья.

— Там, у ящиков! — громко окликнул Борис. — Заснули? Унесут в мешке к чертовой матери за Днепр!

Круглая фигура часового затопталась, повернулась, и сейчас же ответил обнадеживающий голос Склера:

— Я не сплю, нет. Я слушаю, как ветер свистит в кончике моего штыка. Все в порядке.

— Так уж все в порядке? — сказал Борис, поглядев на скользящий по кромке берега голубой луч прожектора. — Немцы жизни не дают, а ты — «в порядке»...

— Так точно. Вчера искупали. Нас и пехоту. А пехота вся на этот берег — назад. Как мухи на воду. Все обратно, на остров... А если опять искупают?

— Позови Кондратьева, — приказал Борис.

— А он старшину с ездовыми к саперам повел.

— Узнаю интеллигента. Не мог послать Кравчука, — насмешливо сказал Борис Шура. — Пошли.

— Куда? — Шура стояла, опустив подбородок в воротник шинели.

— К саперам.

— Не надо этого. Не надо, — устало, но страстно попросила она. — Ну зачем тебе?

Он посмотрел на нее удивленно. Никогда раньше она не вмешивалась в его дела; просто он не допустил бы, чтобы она как-то влияла на его поступки. Но почему-то сейчас, после близости с ней, после ее приглушенных слез, к которым он не привык, которые были неприятны ему, он не мог рассердиться на нее. И он ответил полушутливо, не заботясь, что думает об этом Скляр:

— Война тем война, что везде стреляют. Значит, ты не разлюбила меня, Шура? — Нагнулся,